

## Б. ПОПЛАВСКИЙ

### По поводу "Атлантиды -- Европы"\*

\* Д. С. Мережковский. Белград: Изд. "Русские писатели", 1930.

Как ужасно от снов пробуждаться, возвращаться на землю, переоценивать все по-будничному. Как отвратительно иллюминанту, очнувшемуся от "припадка реальности", открывать глаза на нереальное, видеть комнату, чувствовать усталость и холод, опять погружаться в страх.

Но как сделать экстаз непрерывным, как жить в экстазе, а не только болеть экстазом? И не потому, что экстаз радость (ибо, если искать радостей, то не лучше ли самых грубых). Нет, экстаз есть правдивая жизнь, экстаз есть долг, и все остальное ложь. То есть те же вещи и события, но вне религиозного их ощущения -- пустота и нереальность. Но как сделать экстаз постоянным? Аскеза говорит: постоянно поддерживать его волей, постоянно форсировать его, пусть до грубости, постоянно кричать о святом, постоянно плакать, нарушать все законы приличия. Воззритесь на спортсменов: они, пробегая огромные расстояния или состязаясь на велосипедах, не находятся ли в непрерывном физическом экстазе, каком мучительном и бесполезном, но каком героическом. Может быть Бодлер находился в мистическо-сексуальном экстазе, Пруст в экстазе фобическом, Ибсен в экстазе справедливости, а Чехов в самом глубоком -- в экстазе слез. "Ибо тот, кто плачет часто -- христианин, тот, кто плачет постоянно -- тот святой".

Но не одержимость, нет; экстаз есть нечто мужественное до крайности, стоическое до предела, совершенно произвольное, максимально волевое. И что достигается экстазом? -- Им преодолевается страх "Сим победиши". Ибо после известной точки становится возможным осуществить все страшное, все заветное, писать так, как совесть требует, а у мистиков -- победить логику -- самосохранение ума.

Новая книга Дмитрия Мережковского "Атлантида -- Европа" есть как бы такой именно опыт непрерывного интеллектуального экстаза. Книга эта вся написана в библейском ощущении эсхатологического страха, угрожающей интонации близкого конца, так что прямо мучительна по временам, до того напряженна и тревожна, что вообще так ценно в Мережковском, этом непрерывном человеке, всегда бодрствующем, всегда действующем. Кажется, что для него все важно, второстепенного нет, за всем раскрывается пропасть и постоянное горение есть долг. И если правильно мое ощущение, что от восхищения своим предметом он в настоящее время переходит к боли предмета, от красоты тайны к ужасу ее, то эта книга -- лучшая, самая пронзительная из его книг.

Недаром в "Атлантиде -- Европе" столько говорится о мучительном исступлении, о погоне Титанов за ребенком Дионисом, о повальном пифическом и плясовом безумии, некогда охватившем античность и долго не проходившем. Прекрасное описание античных мистерий (в этом отношении книга представляет исключительный систематизирующий интерес) с не устającym пафосом книга доводится до предрассветной тревоги христианства, -- и все же не к явленному Христу обращен Мережковский, нет, а к кому-то, стоящему еще у дверей, долженствующему еще явиться -- Иисусу неизвестному, Иисусу-Матери-Духу, подобно осеняющему вдруг безумствующего корибанта, неопишимо тихому состоянию прорыва и разрешения в ином, что сам он сравнивает с неизреченно голубым небом, вдруг открывающемся посередине водного смерча в центре бури.

Может в творческом становлении Мережковского уже близко нечто подобное. Атлантида -- Европа есть сплошной экстатический монолог, точка, может быть, наибольшего волнения, какое вообще возможно, наибольшего мучения, результат огромного многодесятилетнего раската тревоги, долженствующего разрешиться в какой-то блистательно тихой книге, может быть в обещанном Иисусе Неизвестном. Может быть в некоторой благословляющей интонации после стольких обличений.

Атлантида была первым человечеством, погубленным потопом за язвы пола и убийства Эроса и Ареса -- содомию и человеческие жертвы, но возжегшим очаги мистерий на Крите и отсель, во всей догреческой древности. Та же участь грозит и второму человечеству -- Европе, если не убоится и не покается.

Но, думаю я, Богу-карателю не противостоит ли экстаз храбрости человека: "Ах, Ты вот как с нами обращаешься, так мы Тебе покажем угрозы"; и здесь начинается экстаз греха, героизм кощунства, доблесть падения. Ибо как вообще можно "бояться" Бога? Лишь тому, во-первых, кто вообще чего бы то ни было боится, а, главное, боится умереть. И разве можно современное человечество, пронизанное героической метафизикой саморасточения, запугать? Не достаточно ли подумать об автомобильных